



Игорь Клех

Игорь Юрьевич Клех (1952) – прозаик, эссеист, критик, переводчик, составитель книг и книжных серий. Родился в городе Херсон в семье инженера-строителя. В 1975 г. закончил русское отделение филфака Львовского университета, год проработал учителем в школе, затем семнадцать лет – реставратором витражей. Публикуется с 1989 г., с 1994 г. проживает в Москве и ближнем Подмосковье.

Стипендиат Пушкинской премии фонда А. Тёнфера (Гамбург, 1993) и Берлинской Академии искусств (1995), лауреат премий журнала «Октябрь» и имени Юрия Казакова за лучший рассказ года (2000).

Прямая речь: «Впервые я смог опубликоваться только в перестройку, на тридцать седьмом году жизни, а через тринадцать лет в два приема написал повесть «Светопреставление» о школьном детстве. Она чуть не пропала, улетев по ошибке из цюрихского аэропорта в Тунис, и с тех пор я никогда не сдаю рукописи в багаж. Я горевал не столько о своем пропавшем мартышкином труде, а потому, что ни за какие коврижки не пожелал бы входить повторно в ту же воду и, главное, придумывать из головы те подлинные детские письма, которые цитируются в одной из её глав. Но недописанная повесть вернулась ко мне, в сильно помятой сумке и с виноватым видом. На третий день позвонили в дверь квартиры, которую мы с женой снимали в спальном районе на южной окраине Москвы, я расписался в получении и теперь знаю, как может выглядеть писательское счастье. Наверное, она была нужна не только мне: вдруг поляки, не переводившие меня уже пятнадцать лет, связались со мной и опубликовали главу, где рассказывается о ненависти к шахматам, в глянцевом журнале для шахматистов. Думаю, школьные учителя и современные школьники также найдут в ней что-то для себя».

СВЕТОПРЕСТАВЛЕНИЕ

Главы из повести

Оправдание темы

Уже совсем скоро мне ударит пятьдесят. 2002 = 50. Наученный считать сперва на счетных палочках, затем в столбик, в уме, на арифмометре и даже на логарифмической линейке, я же давно догадывался, что это случится. Но вот сижу-лежу (в данный момент – в пустынном доме на берегу швейцарского Озера Четырех Лесных Кантонов), пишу повесть о раннем детстве и школе – причем пишу скорее, чем успеваю подумать. Зачем?!

Я хочу примириться с разными возрастными ступенями самого себя, нанизать их, как грибы для сушки, на нить – ведь кое для чего они могут еще сгодиться. Их запах волнует меня даже больше, чем когда-либо прежде. Видимо, кульминационный момент моей жизненной пьесы позади, и в поисках развязки я возвращаюсь теперь по математически выверенной траектории в те места, где впервые увидел свет. Рискую промахнуться – «меткий глаз, косые руки!» – промашка неизбежна. Они не только в других странах теперь, но захоронены в другом времени. Мой отец еще движется где-то перебежками по белу свету. Но моя родина – в самом узком и буквальном смысле – уже лежит в сырой земле. Что не фокус.

Фокус – мои отношения сегодня с этим описываемым мной мальчиком, спрятанным во мне, как годовые кольца прячутся в сердцевине дерева. Пока дерево не спилено, до них не добраться. Но они существуют – я ставлю на них воображаемый кончик грифеля, и, подобно иголке проигрывателя, он считывает с них заедающую мелодию тех лет. Шум человеческой рожи вокруг покрывает ее, ни погода, ни климат от меня не зависели, – но вырасти в этом месте, если уж вырос, мог только я.

Со своим щенячьим возрастом я в мире давно. С собой подростком примирение наступило много позднее, когда изрядно укатали Сивку крутые горки – работы, разводы, женитьбы. Помню тот вечер, почему-то не хотелось идти домой. Вывалив на стол в мастерской ненавистные дневники, письма, фотографии – весь уцелевший хлам, невесть почему не уничтоженный, – я принялся читать (наверное, чтобы сделать это наконец). Все в них оставалось тем же самым – замес из дикого эгоцентризма, слепоты, кокетства, – но, будто дело происходило перед Рождеством того Бога, в которого я не верил, а Он в меня почему-то да, все-все в них вдруг перестало меня раздражать: стыд перестал быть постыдным и сделался оправданным (да и кому удастся прожить без стыда?) – и я не то чтобы полюбил этого прыщавого паренька, представшего передо мной с беззащитной откровенностью, но скорее простил его всем сердцем, как отец сына.

Кто я такой, чтобы винить в чем-то его, а не себя?! Это же я сам, все беспросветное в *нем* – *мое*, все *его* ошибки совершены *им* по причине *моей* испорченности, по *моему* недосмотру или жадности, – однако без всего этого, не узнав и не распробовав плодов зла, кем бы он был??

Переживание этого нового чувства оказалось настолько удивительным и произвело такой непроизвольный праздник в груди, что я боялся пошевелиться на своей высокой табуретке, – только курил, перебирая бумаги в круге света от настольной лампы, сам оставаясь в тени, улыбаясь и посмеиваясь и ощущая такое разлитие мира в душе, какого давно в ней не гостило. Ни в друзьях, ни в алкоголе не было никакой нужды, разве что в семье – но и туда не хотелось спешить. По той простой причине, что возникшее чувство все равно я не смог бы ни с кем разделить. Это было как возвращение домой – когда блудный отец оказывается неожиданно собственным сыном.

Но, и примирившись с собой, я не сдам этого школяра со всеми потрохами на поживу читателям. Только от – и до. Не все на продажу.

Теорема о классах «А» и «Б»

В городе, считая с начальными и восьмилетними, насчитывалось около двадцати школ, но по-настоящему конкурировали между собой две средние – 1-я и 3-я. Самой большой, лидировавшей в хорошем и плохом, была 3-я, бывшая мужская гимназия, меня отдали в 1-ю, бывшую женскую. Поначалу в ней было всего два первых класса – «А» и «Б». В класс «А» учеников набирала заслуженная учительница республики, принадлежавшая к особой породе учителей – карьеристов наробраза, – что-то вроде племенного образца, выведенного для представительства и получения медалей и грамот на всяческих смотрах и выставках. Она и внешне походила на дойную симментальскую корову, научившуюся всю душу вкладывать в партийную демагогию и отзываться всем сердцем, высоким дрожащим голосом, на очередные лозунги текущих дней. Учеников своего класса она намеревалась учить тому же и, чтобы оставаться в *передовиках*, начинала с селекции – вероятно, по договоренности с директрисой (об этой позднее и особо).

Как-то так получилось, что в ее класс попали почти все оказавшиеся в наличии дети городского начальства разных звеньев, что сулило полезные связи и протекцию, а также все евреи из интеллигентных семей, что гарантировало хорошую успеваемость (только двоих – сына армейского старшины и сына приемщика утильсырья – она забраквала, и поэтому они попали в класс «Б»; но

если первый перебивался с двойки на тройку, то второй оказался единственным в нашем классе отличником – чутье ее здесь подвело, и она не скрывала своей досады; в класс «А» этот второй, Миня Горский, окажется переведен позднее, уже без нее, но об этом также отдельный рассказ). Класс получился большой – больше сорока учеников.

Таким образом, учительнице класса «Б» достались объедки с барского стола – преимущественно дети производственников и рядовых служащих, рабочих, уборщиц, матерей-одиночек – от силы полдюжины «хорошистов», учившихся без двоек и с редкими тройками. Естественно, все второгодники, двоечники и прирожденные хулиганы стали достоянием класса «Б». Так было вначале.

Заслуженная учительница нещадно дрессировала свой класс и, надо сказать, преуспела в этом. До половины ее учеников училось на «отлично», двоечника не было ни одного (от нескольких нерадивых она все же избавилась, скинув их в класс «Б» или предложив родителям перевести в другую школу). Все на ее уроках тянули руку, позднее принимали участие в школьных олимпиадах, а после школы уж не помню сколько из них поступило с первого раза на инязы и в технические вузы Москвы и Ленинграда (поступило бы больше, но нескольких завалили на вступительных экзаменах из-за пятой графы – началась массовая эмиграция в Израиль, времена менялись). Преподаватели математики, физики, истории, английского языка просто обожали этот класс, безуспешно ставя его всем нам в пример.

Первая учительница, привившая классу «А» соревновательный дух, заодно впрыснула в жилы отданных ей на воспитание детей немалую толику собственного лицемерия, замаскированного цинизма и органического двоемыслия. Получился прекрасно управляемый, очень разобщенный и в человеческом, душевном отношении ущербный класс – для тех несчастных существ в нем, что вопреки целенаправленным и систематическим усилиям сохранили все же способность самостоятельно чувствовать и пытаться мыслить. Эти последние, может, не чувствовали бы себя обездоленными, если бы в старших классах не поколебалось соотношение между «А» и «Б». Первые восемь лет «Б» плелся в хвосте за «А», но затем развернулся и пошел куда-то вбок, да так быстро, что с парт класса «А» оставалось только наблюдать за этим и... завидовать в свободное от учебы время. Неожиданно он оказался не то чтобы «дружным классом» (как полагали в «А»), сколько живым. Класс «А» продолжал учиться – класс «Б» начинал жить. Трудно сказать, только ли в половом созревании дело – в стечении обстоятельств и наличии упрямства, в развитии

характеров, как-то дополнявших друг друга, – или, может, в относительной одаренности трех-четырех человек и поисках выхода для накопившейся под прессом школы энергии? Уже невозможно сейчас установить. В начальных классах все писали диктанты и изложения, пришла пора сочинений.

Превозмогая скуку, рутину и зевоту несколько человек в восьмом классе стали нести в сочинениях по литературе откровенную отсебятину. Учительницы изумились и вначале стали осторожно ставить оценки «хорошо» даже за откровенно безграмотные сочинения. Эти несколько, не получив отпора, вошли во вкус и принялись писать вообще не по теме (по причине малого знакомства с изучаемым произведением), стишками и прочее. Дальше – больше. Унылая стенгазета превратилась у них в анархистское дацзыбао, размашисто разрисованное цветными мелками, не уместившееся на отведенном для этого стандартном стенде и крепившееся кнопками прямо на стену в классе. На каждый свежий выпуск незаконного чудища сбегались посмотреть учителя и ученики других классов. Когда в стенгазетах появились шаржи на учителей (оказалось, что двое в классе прилично рисуют, свободной рукой), те заволновались, но по какой-то странной причине продолжали терпеть. Те же несколько учеников обозвали себя *aurea mediocritas*, что по латыни означает «золотая середина» (так как не было среди них никого, учившегося без троек и двоек, – их успеваемость по всем предметам учитель английского языка почти исчерпывающе определил формулой «файв-ту-ту-ван»), затем нашли общий язык с двумя полуотличницами, пользовавшимися доверием учительской, и уговорили остальных написать письмо директорисе с просьбой послать весь класс «Б» поработать в колхоз в конце учебной четверти – и поразительно, но это сработало! Приближалось 50-летие советской власти, и школьная парторганизация искала способ выслужиться перед вышестоящими, проявив *инициативу снизу*. Опять же – трудовое воспитание.

Милиция по просьбе школы выделила в качестве шефской помощи два «воронка» – и оба восьмых класса, «Б» и «А», укатили на несколько дней золотой осени на природу, в колхоз имени писателя Василя Стефаника (в новелле которого, включенной в школьную программу, голодный крестьянин наелся тараканов, попавших в жидкое хлебово, приняв их на радостях за фасоль, – электричества не было еще на селе, – а узнав правду, лег и отдал богу душу). В зарешеченном окошке воронка класса «Б», набитом учениками под завязку, полоскался на ветру самодельный плакат «В труде рождается

фигура!» – глядя на который и на совсем детские лица веселящихся до упаду пассажиров, крестились галицийские старухи, застывая на обочине дороги.

Классы разместили в колхозном детсаду, в первый же день произошла стычка с кем-то из местных, и к вечеру территорию детсада окружили сельские хлопцы, от мала до велика, и принялись кидаться камнями из-за всех заборов и с деревьев. Двое наших рисовальщиков и заводил еще днем ушли в поисках приключений в село и не вернулись к отбою. Дождавшись, пока погасят свет, и выбравшись через кухню наружу, мы с парой приятелей отправились на поиски, заподозрив, что их могли крепко избить.

Село было странным, расположенным на холмах и расползавшимся во все стороны, – по его крученым, размытым дождями улочкам между высокими плетнями молча бегали одни собаки. Это было родное село писателя Стефаника, и оно все еще жило, как в дурмане, воспоминаниями о съемках здесь в прошлом году фильма «Каменный крест» – по другой его новелле. Снявшегося в нем в эпизоде хлопчика Мисьо, лихо подбравшего носом мутные сопли, нам представили сразу по приезде как местную знаменитость.

В сгустившихся сумерках послышался шум и быстро приближающиеся неразборчивые голоса, мы все напряглись, тщетно высматривая в темноте палку или камень на всякий случай, но, к счастью, из-за поворота показались те, кого мы искали. Менее пьяный Сережка гнал более пьяного Ваську хворостиной, как телка, хотя тот походил скорее на подсвинка. Пытаясь увернуться от хворостины, он разгонялся, его заносило, и он с хрюканьем врезался головой в очередной плетень.

– Гоняю его, чтобы протрезвел, – заплетающимся языком объяснил похожий на завитого «битла» Серега. – Самое трудное – поднимать, помогите!

После нескольких таких подъемов, пробежек и падений мне пришла в голову другая мысль. Мы затащили Ваську в какой-то неогороженный двор и принялись насильно поить водой из колодца, чтобы он, опившись, проблевался, подбадривая его к тому несильными ударами под дых. Куда там! Он выдул не менее половины ведра, после чего сжал побелевшие губы колечком («куриной попкой»), говорили наши девчонки, – была у него такая важная манера), равно отказываясь больше пить и блевать. Более того, невзирая на тумачи, он принялся засыпать мертвецким сном. Что делать? На дворе ночь, сырость пробирает, нести его на руках – такого вымахавшего, широкого в кости

дылду, – да и куда?! Пред очи учителей, завуча, школьного парторга? Это значило заложить друга, нас всех и весь класс. Ночевать с ним на улице? Я постучался в хату. Открыла босая старуха в драной вязаной кофте. К счастью, она жила одна, единственный ее сын жил с семьей на другом конце села. Она согласилась положить нашего Ваську переночевать на пристенной лавке. Мы успокоили ее, что ранним утром заберем товарища, после чего смогли наконец сами вернуться в детский сад, чтобы поспать пару часов.

Дверь кухни все еще оставалась открытой, кому-то из класса «А» и из наших не спалось. Но свет всюду был погашен – сделав несколько шагов вслепую и налетев на что-то, едва не обрушившееся с грохотом, мы молча опустились на четвереньки и продолжили ползком свой путь во мраке. На фоне окон проявился вскоре створ двери, ведущей в зал с сотней укороченных коек. Где моя, я знал и, немного покружив, достиг ее, примостившись наконец на ней калачиком поспать до рассвета. Не так было с Серегой, которого в помещении развезло. Он зацепился хлястиком фуфайки за пружинный крючок под чьей-то кроваткой, попытавшись определить, занята ли она, пребольно получил по руке от бдительной девчонки и, безуспешно подергавшись, так и заснул под детской кроватью в полуподвешенном состоянии.

Свое обещание мы сдержали и разыскали в предрассветном селе, стуча зубами от сырости и недосыпа, хату, в которой оставили Ваську. Этот гад отдал таки все выпитое, но не тогда, когда мы от него этого добивались. Молодецки раскинувшись на полу хаты посреди брызг и лужиц многократной рвоты, он спал теперь сном ребенка. Старуха сидела с ногами на лавке, как неприкаянная курица на насесте. Увидев наше огорчение, она принялась нас утешать: «Совсем молоденький еще хлопчик, да я сама приберу, и с сыном моим такое не раз бывало». Старухина отзывчивость настолько поразила меня, что я от нас всех сгоряча пообещал купить ей... новую кофту: что бы мы делали, не согласись она помочь нам?! До сих пор мне стыдно и досадно за пустое обещание – в те годы у нас совершенно не было денег. Всем классом мы заработали на току с кукурузой, на уборке свеклы и помидоров столько, что еще остались должны колхозу за наше пропитание. Конечно же, история с напившимися городскими школьниками живо обсуждалась всем селом (новость на селе – особый товар, а обещания молчать старуха не давала) и, естественно, немедленно сделалась известна и нашим педагогам. Они были возмущены, стыдили, грозили карами, однако сразу по возвращении начинались каникулы, и на историю решили закрыть глаза – никому не хотелось выносить сор из

избы. Тем более в канун такого торжественного события, которому, собственно, и посвящена была наша поездка в колхоз. Можно сказать, что дело об аморальном поведении было прекращено по амнистии.

Наши учителя не были широко мыслящими людьми. Но тогда почему и следующие два года они шли у нас на поводу? «Клевали» на наши идеи, откликались на наши предложения, договаривались об автобусах для дальних поездок, сами подали идею выпускать школьный самиздатский литературный журнал – чистую крамолу в те годы?! Свой журнал мы назвали без затей – просто «Арт». Для первого номера я написал вполне анархистский манифест, два рассказа – добрый и злой – и полемическую заметку «Американцы в космосе». Естественно, этот номер, как и следующий, впрочем, сразу попал на стол соответствующего кабинета в КГБ, и к нам в школу прислали нового завуча по английскому обучению – переведенного из Тбилиси офицера госбезопасности весьма спортивного вида. Наш Васька изображал его очень похоже: открывается дверь, с порога летит над нашими головами портфель нового учителя и приземляется точно на стол, сам он не спеша подходит к доске и отчетливо произносит, выдержав паузу и смакуя каждое слово:

– Здравствуйте. Я ваш новый учитель, зовут меня Икс Игрекович Зет. Родился в Тбилиси, где и провел большую часть жизни, занимался конным спортом и боксом. У кого есть вопросы?

Девчонки класса «А» сразу влюбились в него – все до единой, – они ходили за ним табуном, доводя этим и телефонными звонками до каления его жену, а когда через полгода его забрали от нас и рассекретили, то так же табуном простаивали на углу безлюдной улицы Чекистов, надеясь встретить его или хоть увидеть мельком. Любопытно, что на девиц нашего класса его чары не подействовали совсем (и только сейчас я понял причину столь загадочного иммунитета: XYZ, назовем его так, тоже в прошлом учился в параллельном классе «А» и был одним из особо удачливых его выпускников). Преподаватель, как и завуч, был из него никакой. Нам, несколькими, он пытался понравиться, вступая в разговоры и угощая сигаретами. Это слегка льстило, но и внушало снисходительное ироническое отношение, как заискивание барина перед мужичками. Тогда же работавшая у нас учительницей «мовы» и литературы потасканная райкомовская инструкторша, о которой говорилось за плечами, что «у неё было четыре аборта», с глазами питона и приторными фальшивыми интонациями, какие бывают только у самых бездарных актрис облдрамтеатров, – эта учительница остановила меня

как-то на школьной лестнице, зажала до конца перемены в угол так, что я не мог, как ни старался, увернуться от её нечистого дыхания, и на следующий день зачем-то принесла почитать изъятый из библиотек древний номер «Нового мира» с романом Дудинцева «Не хлебом единым» (до того с жестким соблюдением смехотворных правил конспирации мне уже давал почитать другой номер того же журнала с «Одним днем Ивана Денисовича» наш «англичанин» по кличке Патиссон – может, целью были не мы, а он?).

Допустим, стоящие за этими двумя и начавшие с нами игру в кошки-мышки *товарищи* из здания на безлюдной улице рассчитывали использовать наш школьный журнал как наживку. Но другие наши учителя – им-то это все было зачем? Почему они позволяли нам держать в классе старый патефон, подаренный нами девчонкам на 8 Марта? Почему открывали для нас подсобки своих кабинетов, пускались с нами в споры, обижались и выпрашивали, что мы думаем о чем бы то ни было на свете?! Ослепил ли их наш солнечный идиотизм? Или они хотели тоже немного пожить около нас, чтоб дожить свое и было что вспомнить? Не знаю.

Помню похожую на притчу задачку о бассейне с двумя трубами, слышал про группы «А» и «Б» в промышленности и про то, как они сидели на трубе, про одноименные пункты могу сказать, что между ними, вопреки тому, что утверждается на этот счет учебниками, никогда не существовало сообщения. Знаю еще, что писатели с фамилиями на А, Б, В, Г, Д, с которых начинаются списки учеников в классных журналах, гораздо успешнее, а часто и пишут лучше тех, чьи фамилии начинаются с букв, расположенных в других, более отдаленных и глухих участках алфавита. Думаю также, что Лермонтов, не попади в юнкерское училище, непременно учился бы в классе «Б».

Однако какие математически корректные доводы могу я привести для доказательства своей теоремы (уж аксиомой-то она точно не является)? Кажется, я поторопился – ресурсов левого полушария моего головного мозга явно недостает на то, чтобы, сведя все концы, добиться непротиворечивого и «красивого», как выражались наши учителя, доказательства. Я учился в классе «Б», поэтому прошу снисхождения за подмену в очередной раз аргументации иллюстрацией.

Было так заведено, что со второго года обучения все классы переводились в малое здание в глубине школьного двора, отведенное под начальную школу. Питомник своего рода или отстойник, чтоб не путалась мелюзга под ногами и нагуливала вес. Для заслуженной

учительницы это правило было несколько унижительным, но и она ничего не могла с ним поделать. Свою вынужденную «опалу» она использовала для передачи педагогического опыта другим учителям младших классов, в том числе и нашей первой учительнице. Они простаивали на переменах в коридоре, грея спины у кафельной печки (здесь мы под их взглядами или окриками замедляли шаг, после чего кубарем катились по лестнице, съезжали по перилам – никаких тебе дежурных с красными нарукавными повязками на этажах!), – и заслуженная, с уложенными на голове толстыми косами и колышущимся бюстом, все поучала, давала советы, что-то рассказывала, а наша-то, помоложе, худенькая, серенькая (никогда ничего яркого в одежде), все слушала, ловила каждое слово, кивала согласно, понимая, что до заслуженной ей, как до неба, ну и ладно, как-нибудь и на своем месте.

Кажется, я теперь понимаю, что разница между ними по существу была в одном только: наша Мефодьевна, в отличие от их Ксении, относилась к каждому из нас по-разному, то есть как к людям, и не скрывала этого. И поэтому каждый мог стать, кем хотел и мог: двоечник Двоечником, зубрила Зубрилой, посредственность Посредственностью, девочка Матерью или Блядью, – каждая дорожка раздваивалась или растривалась, и каждый мог принять свою участь и следовать по тому пути, по которому его влекло, но мог и попытаться *счастия оружия*, – и с большого расстояния любой выбор не кажется мне сегодня столь уж существенным, куда важнее, что выбор наличествовал, шанс имелся у каждого.

Наша учительница была неприметным капитаном Тушиным наробраза. Где-то дома она растила собственного сына, а в школе старалась успеть чему-то научить разношерстное племя из двадцати с лишком стремительно идущих в рост маленьких дикарей – балбесов и дур.

Где шпион?

В первых классах родители, кто мог и хотел, платили по десятке в месяц за обучение своих детей дополнительно английскому языку. То есть человек десять из класса имело на несколько уроков в неделю больше, а когда через несколько лет школу сделали английской спецшколой, эта группа стала первым ее выпуском. Остальная часть класса английский язык в гробу видела. Но и наш пионерский выпуск вышел натуральный блин комом. Во-первых, учителя английского

менялись чуть не каждую четверть, мы уже даже не старались запоминать их по имени-отчеству. Во-вторых, постоянно менялись программы и методики: новые на новейшие, а те на сверхновые, отчего каша в наших головах была страшнейшая. Не доучив времена глаголов, мы принимались за изучение истории советского периода на английском языке, кто-то загонял нас в лингафонные кабинеты, кто-то делал упор на знании британских реалий, географии и быта и крутил без конца в затемненных кабинетах ленд-лизские документальные фильмы с человечками в котелках и опасно накреняющимися двухэтажными автобусами, а оценки ставил за знание топографии Лондона, еще кто-то читал с нами рассказы уже Джека Лондона и заставлял наизусть зубрить стихи Бернса. Кто-то приходил от всего этого в ужас и принимался ставить нам произношение, но исчезал скорее, чем успевали *увянуть цветы на наших шляпах*. Не говоря о том, что сначала нас научили писать по-английски, чтобы после начать учить говорить. Конечно, мы заговорили, но англичанам крайне повезло, что их не пускали в наш город, иначе бы они этого не вынесли.

Вообще, в этом предприятии слишком много было от искусства для искусства. А преподаватели английского, мечтавшие когда-нибудь повстречать живого англичанина, чтоб отточить на нем свой язык до сабельного блеска, являли собой преинтересную породу людей. Порода эта была неоднородна, но более всего ее украшали энтузиасты – в особенности, вдохновенные англomanки. Боже, как горячо они любили старую добрую Англию, любой британец, то есть простой «носитель языка», казался им небожителем! Подобно фанаткам или фетишисткам, они собирали любые вещички, доказывающие существование большого острова севернее Ла-Манша, который они требовали называть Английским Каналом, – ими отлавливалось все, что издавалось или имело хотя бы самое косвенное отношение к предмету их обожания. Они боготворили английскую королеву, мечтали хоть разок окунуться в лондонский туман или даже смог, пройти по Вестминстерскому аббатству, знакомому им назубок, они, не признаваясь нам, слушали музыку «битлов», а по ночам – о ужас! – радио Би-би-си. Но их не интересовало содержание передач, они млели от произношения английских дикторов, как кто-то от голоса Синатры или Армстронга. Ни одна из них не смогла бы отказать мужчине с таким произношением. Ситуация, конечно, воображаемая, но этому гипотетическому диктору пришлось бы без умолку болтать и в постели, иначе он бы немедленно оказался изгнан из нее. Ведь они

были идеалистками. Десять лет всего, как перестали сажать, и на тебе – какое развели низкопоклонство!

Но мы-то, дети, продолжали читать Гайдара и всякие «Кортики», «Бронзовые птицы», «Старые крепости», а в школе нам без конца ставили в пример пионеров-героев и молодогвардейцев и рассказывали, какие пытки врага сумели они вынести и не выдать своих. Я, как увидел посеребренные ногти новенькой молодой «англичанки», заточенные, как нож, и выступавшие из пальцев еще на длину фаланги, – зачем такие?? – так сразу понял, что она английская шпионка. А уж когда увидел, что она прячет под классным журналом географическую карту с иностранными надписями – а уголок-то торчит! – сомнений не осталось совсем. Но какова наглость: вот так вот заявиться в советскую школу! И что она хочет разведать? Ручка тоже у нее иностранная, сама улыбается все время, но нервничает – ногу на ногу закинула и острым носком туфельки вверх-вниз, вправо-влево. Я поделился своими наблюдениями еще с двумя одноклассниками, и мы решили проследить за ней после уроков.

Слежка была организована на славу – куда она, туда и мы. Она в магазин – мы под магазином, она обернется – мы в разные стороны. Явно хотела от нас оторваться, «хвост» потерять. Один раз ей это совсем удалось. Она во двор, а он оказался проходной – мы выбежали на другую улицу, а ее нет. Говорил же Генке, который хвастался, что у его отца-штабиста есть подробнейший план нашего города, – принеси, говорю, мы только посмотрим, чтоб все проходные дворы узнать, для преследования или чтоб самим скрыться. Он принес наконец, а на нем целые кварталы сплошным кубиком – какие там дворы?! А еще чердаки, люки на крышу, подвалы с несколькими выходами, э-э!

Стали мы забегать в каждый двор на той улице и таки обнаружили в одном из них свою «англичанку»: стоит посреди двора в обнимку с каким-то типом в плаще и целуется! Тьфу ты, гадость! Они, как увидели нас троих, плащи сразу запахнули, он ее под руку – и ну улепетывать. Хотя это никакое еще не доказательство, что она не шпионка. Но мы не смогли ее выследить.

Вскоре она ушла от нас преподавать в пединститут и ходила все время по городу с другой пединститутской преподавательницей, мужеподобной, в роговых очках и много старше ее, которая соблазняла ее своей библиотекой, насчитывавшей десять тысяч томов, из которых большая часть на английском языке, – это я уже случайно подслушал.

Иногда мне даже нравилось думать, что мой отец шпион (а откуда он так много всего знает и все мои уловки видит насквозь, а проступки предвидит заранее? Может, он вообще не мой отец).

Только много позднее я понял, что шпион – и настоящий, только не английский – в нашем городе действительно был и находился как раз там, где я его искал. Но шпионом этим был я сам.

Литература – один из видов шпионажа в пользу неизвестного и, возможно, несуществующего государства, с очень сложной системой шифров, многие из которых неизвестны и самому пишущему. Поэтому только неискушенному читателю может показаться, что он читает сейчас повесть о школьном детстве. На самом деле здесь рассказывается нечто совсем другое.

Фигуры из ящика Пандоры

Шахматы я ненавижу.

Почти до самой школы отец смотрел как-то поверх и сквозь меня – кажется, он и замечал меня только, когда я заслонял собой что-то. Он уставал – ему приходилось не просто много работать, а очень много работать. То ли так принято было тогда на производстве, то ли он такой человек. Скорее всего, и то и другое. Но вот однажды воскресным утром (суббота была еще рабочим днем), выспавшись всласть, он позвал меня в родительскую спальню. Мать уже встала и стряпала на кухне воскресный завтрак. Отец сказал мне принести шахматы, я вернулся с погрохатывающим клетчатый ящиком. Облокотившись на подушки и очистив табуретку у изголовья, он высыпал фигуры на одеяло, установил раскрытую доску клетками вверх на табуретке. Беря по одной фигуре, он показывал каждую мне и расставлял их на доске в два ряда.

– Это король, это королева, это офицер, это конь, это тура, а это пешки. Король ходит так, королева так и так, офицер только так, конь – буквой «гэ»...

Ну и так далее. Исчерпав запас фигур и не желая терять времени на дальнейшие объяснения, он сказал коротко:

– У тебя белые, ходи!

Я и пошел.

А еще минут через пять он сказал:

– Шах и мат. Пошли, мать зовет завтракать!

Поначалу он давал мне фору. А так как шахматы были его любимой игрой и играть с ним приходилось часто, то волей-неволей я

не мог не научиться в них помаленьку играть. По мере того, как мое сопротивление на доске росло, он уменьшал фору, пока наконец мы не стали играть полным составом. На это ушло пару лет, поскольку игрок он довольно сильный и мог бы стать, имей время на это, чемпионом не только двора, но и улицы. Но я не мог и представить себе, в какой переплет я попал.

Самое плохое началось, когда я стал у него выигрывать. Сначала сдуру, случайно, «по зевку». Но позднее, когда мы стали играть почти на равных, эти турниры сделались изматывающими, и я под всякими предлогами – надо готовить уроки, хочу спать или болит голова – старался уклониться от участия в них. По той простой причине, что отец человек азартный, а терпеть поражение от собственного, в принципе, сперматозоида, любой согласится, и обидно, и позорно, – поэтому играть с ним приходилось до тех пор, нередко за полночь, покуда счет партий не становился в его пользу. Выигрыш с разгромным счетом окрашивал для него дни календаря в красный цвет, в таких случаях из-за стола он вставал абсолютно счастливым, веселым и добрым человеком. Все мои попытки уклониться от втягивания в игру отменялись им как несерьезные, а прекратить игру при счете в мою пользу вызывали возмущение, гнев, еще хуже – какую-то почти ребяческую обиду такой интенсивности, что поступить так я уже не находил в себе душевных сил и возвращался за стол. Смешная деталь: он никогда не сдавался и играл до мата – сдача в его глазах была, даже в шахматах, недостойна мужчины.

По мере взросления, однако, я развивал в себе цинические наклонности. Мое коварство заходило так далеко, что, желая отправиться спать, я просто сдавал игру. Делать это следовало не очень явно, потому что, если мышка не борется за свою мышиную жизнь, кошке неинтересно и даже обидно. Шахматные фигуры и сегодня мерещатся мне такими флаконами витальности, которой желательно лишить противника и присвоить себе. Наверное, поэтому вся красота этой древней и, предположительно, мудрой игры прошла мимо меня. Я оказывался, таким образом, проигравшим вдвойне. Этого, однако, мало.

Были еще шахматные задачи, которые так любил сочинять Набоков-Сирин. Отец же учил меня, как их «взламывать», он был опытным шахматным «медвежатником» и стремился передать мне свое искусство, а возможно, продемонстрировать свое превосходство и на этом направлении. Потому что точно так же усаживал меня решать шарады, ребусы, обильно публиковавшиеся советскими газетами и

журналами, и прочую дребедень, к которой я не испытывал ни малейшего интереса, не желая мозолить ею свои мозги. Поэтому ему, как учителю, вытягивающему на «тройку» двоечника (двоечником я не был, хотя двойки получал, мы звали их «жбанами», не знаю, откуда это? «Жбан» – по-украински «кувшин», может, типа кувшин раскоцал – ценность – теперь попадет дома. Мяч, например, звался «пилка», и это уже по-польски. Галиция, блин!), как такому нерадивому, вообще-то, учителю, ему приходилось решать эти головоломки самому, а поскольку посылать под своим именем ответы в местную прессу или детские журналы было как-то несолидно (так вот чем наш главный инженер, оказывается, занимается!), посылалось все это в редакции от моего имени, переписанное детским почерком, – сидели-то над решением задач мы вместе! Естественно, поэтому меня ничуть не могло обрадовать появление моего имени на страницах, скажем, пионерского журнала «Костер», и отцу в таких случаях приходилось радоваться за двоих. Самозванцем все же я быть не желал и вынужден был изобрести средство от метода. Каково же было удивление отца, когда в областной газете победителем какого-то супермарафона по решению все более заковыристых шахматных задач с присвоением первого разряда («мастера спорта» газеты давать не могли) объявлен был вместо меня он – фамилия та же, а имя другое!

Он был настолько озадачен, что всегдашняя его проницательность в отношении меня на этот раз отказала. Отправляя в заклеенном конверте решение последней задачи, я просто подписался его именем. Он изучал газету и так и сяк (мог ли он ожидать такого коварства и отсутствия честолюбия в собственном сыне?) и, думаю, пришел к заключению, что кто-то его «рассекретил», что товарищи, работающие в редакции, прослышали о замечательном шахматисте в черной маске, живущем на одной из городских улиц и не являющемся мастером спорта международного класса, как минимум, только потому, что он занят на производстве и не имеет времени принимать участия в шахматных турнирах, а во-вторых, потому что он никогда не сдается, а среди мастеров это не принято – чемпионы мира и те вон сдаются.

Как бы там ни было, в итоге единственным моим ощущением, оставшимся в отношении шахмат, стало отвращение. После окончания средней школы я садился за эту игру только два раза – десять лет спустя и двадцать лет спустя.

Первый раз – с ближайшим другом по его предложению ночью на кухне, где мы вынуждены были дожидаться рассвета в отсутствии выпивки. Раз за разом, почти не глядя на доску, «зевая» фигуры,

постоянно отвлекаясь, я обыграл его раз восемь подряд. После первого проигрыша он думал, что это случайность, и сразу заявил об этом, после второго был раздосадован, после третьего откровенно злился, после четвертого начал кричать, что я как-то неправильно играю и это какое-то фатальное стечение обстоятельств – как может выигрывать раз за разом человек, не обладающий элементарной шахматной культурой?! После пятого заявил, что, если я встану сейчас из-за доски, я поступлю непорядочно. После шестого он молчал и начал покрываться красными пятнами. Когда рассвело, из-за доски мы встали почти врагами. Уже на улице меня вдруг стало трясти от накопившегося за столом на тесной кухне нервного напряжения, ищущего теперь выход. Но это могло быть и вследствие ранней утренней прохлады после бессонной ночи и выкуренной пачки скверных сигарет. Я был зол на себя. В отношении своих шахматных способностей я не заблуждаюсь – шахматист я так себе, вынужденный, сейчас и вообще никакой, – но с ними-то всеми, кто за доску садится, что происходит?!

Второй раз играть пришлось в Москве с маленьким сыном своего друга, оставившего их с матерью и жившего за границей в новом браке. Мальчик был весьма развитой, но распад семьи как-то чересчур болезненно отразился на нем, в его характере стали развиваться дегенеративные черты вундеркинда-идиота. Чему немало способствовали жизненные установки его матери, имевшей диплом психолога. Он задавал вопрос и сам же на него отвечал, временами ронял слюну, в семилетнем возрасте бегло говорил на нескольких иностранных языках, поскольку подолгу жил с матерью в Западной Европе, на носу его сидели очки с толстыми линзами, и он заметно косил. Он спросил меня:

– Вы друг моего папы? Сыграйте, пожалуйста, со мной в шахматы, а то мне здесь не с кем играть.

– А ты умеешь уже играть в шахматы?

– Я очень хорошо играю. Я обыгрываю всех маминых знакомых и друзей.

Его мать также попросила меня сыграть с мальчиком. Дело происходило поздним вечером в субботу накануне Пасхи. Мы все втроем только что вернулись из церкви, донеся зажженные в ней свечи до самой квартиры. Мальчик был очень одинок, и это будто написано на нем было большими буквами. Его мать также, но иначе. В тот предпасхальный вечер я оказался их единственным гостем, и то по

совершенной случайности. Молчал телефон, стояли факсы. Я не смог им отказать.

Мальчик объявил, как бы колеблясь, но на деле рисуясь:

– Пожалуй, я разыграю индийскую защиту...

Очень быстро проиграв, он сказал мне:

– Вы как-то неправильно ходите.

После второго проигрыша он взмолился:

– Ну дайте мне отыграться, еще одну партию только – ну пожалуйста! Я еще никогда не проигрывал!

Он продолжал упрашивать и препираться и не пробовал разве что плакать, поскольку не был уверен, не отправят ли его тогда в постель немедленно и без разговоров. Можно также предположить, что игра в шахматы являла для него собой способ взять верх над мнимыми и реальными любовниками матери, самые хитроумные из которых, надо полагать, сдавали партии сыну с тем, чтобы завоевать расположение его матери: какие экстраординарные способности у вашего ребенка, их обязательно надо развивать!

Но я сказал бессердечно:

– Нет, мальчик, сейчас ты пойдешь спать и позабудешь о шахматах. Потому что все это – все, чем мы сейчас с тобой здесь занимались, – все это уже было, все эти ходы. Совершенно неважно, кто сегодня выиграл. Ты уже хорошо играешь, со временем будешь играть еще лучше, а сейчас отправляйся спать. Все-все, мальчик, покойной ночи!

Я почти бежал из той квартиры, чувствуя, что еще чуть-чуть – и в самую ночь на светлое Воскресенье я окажусь там, где мне и положено быть давно, – в аду.

В месте, где на черно-белом поле из шестидесяти четырех клеток отупевшие от усталости черти преследуют вечным шахом короля, не желающего сдаваться. Чертям никогда не выиграть эту партию, потому что фигуру короля переставляет мохнатая лапа самого неутомимого игрока во вселенной, их князя – Вельзевула. Мне же уготовано при них место писаря, посаженного до скончания времен следить за игрой и записывать их ходы.

Топография двора и мира

<...>

В те ранние годы городское озеро служило мне чем-то вроде Маркизовой Лужи, где отец обучал меня азам и навыкам мореходства.

Как-то целое лето он прибегал домой, ни одной лишней минуты не задерживаясь на работе. Я был уже наготове, и почти бегом – «Ну чего ты плетешься там, шире шаг!» – мы спешили с ним на озерную лодочную станцию, где, выстояв небольшую очередь на солнцепеке, он под залог паспорта или часов брал лодку напрокат, платя тридцать копеек за час, и до самого захода солнца мы бороздили с ним воды озера во всех направлениях, гребя то вместе, то поочередно. Когда мы гребли вместе, нам не было равных на водной глади – широкозадая фанерная лодка, распустив пенистые усы, неслась, как на крыльях. Поначалу я ходил с кровавыми волдырями от весел, но к концу лета у меня образовались на ладонях мозоли в нужных местах. Хотя еще больше, чем грести, мой отец любил командовать:

– Левым табань, правое суши! Балда – правое!

– Так у меня вот правое!

– Отставить разговоры, курс зюйд-ост, полный вперед!

– Идем в бейдевинд, три галса левее!

Ну и тому подобное. Это было замечательное лето.

Я вынудил его учить меня тому, что мне было интересно. Он сам впервые с ностальгией оглядывался на свою жизнь, припоминая год службы после института на Черноморском военно-морском флоте, – муштра забылась, осталось одно южное море, но и оно лишь в виде нечаянного дуновения бриза в далекой сухопутной глуши: Одесса, Потти, пальмы...

Нами создана была география чахлого макета моря, на поверхности которого мы упражнялись в мореплавании. Мы дали названия острову, мысам, бухте, проливу, ручью, питающему озеро, и поросшему осокой гнилому затону. Были, конечно, на озере морские волки и покруче нас – на спасательной станции, но у них имелись катаера, бинокли, тельняшки и даже стереотруба на вышке. У меня же был только маленький кусочек тельняшки, который я сам пришил к вырезу рубашки, будто на мне целая тельняшка. Мальчик бредил морем. Перед заходом теплохода в Севастополь я не спал всю ночь, не сблевал ни разу и уже перед рассветом был на верхней палубе, переживая: какие из военных кораблей я увижу на рейде и в бухте? Эсминцы – точно, подлодки тоже, тральщики, торпедные катаера, но вот увижу ли флагманский корабль? И, силы небесные, помогите мне увидеть хотя бы один новый ракетный крейсер! А вдруг все они окажутся на учениях или на дежурстве в Средиземном море?! Вот будет досада.

На стене моей комнаты под репродукцией Айвазовского в золоченой раме висел учебный плакат с американским атомным авианосцем «Мидуэй», агрессивно задравшим скошенную палубу. Что никак не соответствовало атмосфере «чердака старого морского волка», которую я всеми силами стремился воспроизвести, не имея к тому достаточных средств: армейский шестикратный бинокль с бельмом на одном глазу, крошечный пустотелый глобус, пластмассовая каравелла, а остальное все – монеты, ракушки да камешки, да сушеные морские коньки и иглы. Я помнил наизусть все планы главных морских сражений, начиная с Саламинского и заканчивая тихоокеанскими операциями Второй мировой войны, – красота и драматизм их построений завораживали, имена ласкали слух: как Рождественский мог позволить адмиралу Ямамото, словно ножом червяка, разрезать свою эскадру?! А вышедший из Скапа-Флоу адмирал Джеллико все цеплял, цеплял уходящий немецкий флот в Ютландском сражении за спадающий башмак линейного крейсера «Блюхер», да и тот не потопил. Орлов, подковой обступивший Чесменскую бухту и устроивший такой фейерверк, что наутро Оттоманская империя проснулась без военных кораблей, Гангут, под которым русские гончие и борзые в клочья разорвали шведского медведя, ну и так далее. Дома книг по военному искусству и кораблестроению хватало.

Мой ребяческий милитаризм был замечен отцом, который не смог после войны поступить в военное училище из-за полугода, проведенного на оккупированной территории в тринадцатилетнем возрасте. И он придумал игру, вскоре заменившую нам обоим походы на озеро. Точно так же он спешил теперь домой после работы, чтобы предаться куда более азартным стратегическим игрищам. Сначала пришлось создать две страны, разделить их на «его» и «мою» и окружить морем. Они были посажены на миллиметровку, и каждый получил по экземпляру географической карты с нанесенными координатами, горами, реками, городами и всем, что полагается. Физическая и политическая география, впрочем, были липой и, как на контурной карте, почти что не имели значения – все являлось здесь полем боя, морского или сухопутного. Каждый располагал флотом с определенным числом авианосцев, линкоров, эсминцев, подлодок и прочим, где каждой боевой единице присвоен был коэффициент живучести, равнявшийся ее же ударной мощи, и установлены максимальная скорость передвижения и дальнобойность, – то же с сухопутными войсками. Расходясь по разным комнатам, мы лупили втемную по площадям, обводя карандашом медные монеты разного

достоинства, после чего карты сличались, подсчитывались потери, наносилась новая дислокация. В общем, это был усовершенствованный и приведенный в движение вариант всем хорошо известного «морского боя». Каждый вечер, едва отужинав, мы расходились, рисовали новое положение своих дивизий и эскадр, вновь били по площадям вслепую, стараясь угадать маневр противника, сходились, стирали резинкой погибших и утопших и перечерчивали линии фронтов – игра все разрасталась. Главкомандующими и диктаторами были мы сами – то есть наши игральные двойники под шутейными прозвищами, но были у нас и командующие армиями, адмиралы, которые гибли в сражениях и тонули, и тогда приходилось придумывать новые имена для очередной военной кампании. Только заканчивалась одна, начиналась следующая, которая не могла закончиться ни заключением мира, ни окончательной победой – иначе с кем же тогда играть?? Незатухающая военная игра, несколько дурацкая, но не глупее позднейших компьютерных игр и для нас двоих, единственных, может, на всем свете игравших в нее, уж точно увлекательнее. Возможно, в штабах, куда отца призывали иногда из запаса на переподготовку, играли в похожие игры (для меня это не имело никакого значения тогда, не имеет и сейчас), возможно, так он довоевывал свое, не успев повоевать. Я же просто погружался каждый вечер в воображаемую жизнь в иной реальности – «бегство от действительности», «реакционный романтизм», так это, кажется, тогда называлось. И я готов был самозабвенно бежать в тот мир, сачкуя из этого. Потому что в этом, «их» мире было много всего. Не было только одного, стоящего, может, всего остального, – свободы.

Хотя сейчас, отстраивая и перенося на бумагу то, что было, я и не хочу уже свободы. А хочу назад – в бочку с кайфом без свободы! Я не подозревал, что придется заплатить за нее такую цену. Так отлетающая голова посылает прощальный удивленный взгляд обезглавленному телу. Где-то на въезде в новый век мне снесло башку, я и не заметил как. Доктор Время тут же приделал мне другую – какого-то седоусого недовольного старика. Я его не знаю.

Своя игра *История созревания в письмах*

Все же созданная отцом игра не покрывала целиком моих потребностей в игре. Любимой и главной книгой для меня оставался географический атлас мира, напоминающий размерами и жестким тисненым переплетом «Краткий курс истории ВКП(б)» или карманную

Библию (единственное чтение моего отца в оккупацию, откуда он, убежденный атеист, любил временами цитировать поучения и афоризмы), но с какими картинками! Кишечник внутренних морей трех сросшихся материков, зелень владений Британской империи с доминионами, суммарной площадью не уступавшая розовому цвету отечества, проведенные по пустыням под линейку границы, сказочная музыка названий: Баб-эль-Мандебский пролив – эта оргиастическая манжетка на входе в Персидский залив, цветопись морей – Красное, Желтое, Черное, Белое, приноживающийся к полярным ветрам Канин Нос, тревожный мыс Доброй Надежды и зловещий мыс Горн, Огненная Земля, Тихий океан, остров Борнео, поражающие воображение холодные и теплые реки течений, подводные хребты, ущелья и вулканы, кружева атоллов и вязкое Саргассово море и, наконец, затмевающая Древний Рим и превосходящая величием все существовавшие империи – всемирная Карибская пиратская республика! В конце концов я не мог не создать на правах ереси собственную игру и свой мир, в который впустил вскоре новых друзей.

Подтолкнула к этому апокрифическая книга «Кондуит и Швамбрания». Вначале я создал собственную «швамбранию» – воображаемые острова с названиями вроде Порт-Фель и тому подобное, – построил парусники, набрал команду отчаянных головорезов и принялся играть в пиратов. Отец с неодобрением посматривал на мое увлечение: «Почему пираты? Это же морские разбойники, обыкновенные бандиты!». Но что он понимал! Потому что: кто свободнее корсара в свободной стихии морей?

Когда появились друзья, заразившиеся моими галлюцинациями, но бывшие людьми более практического склада, пришлось отказаться под их давлением от выдуманных островов и начать бороздить в поисках добычи Мировой океан, отменив только календарь и объявив текущий год 1762 от Р.Х.

Я листаю свой судовой журнал – это школьная тетрадь в клетку, Зоя Космодемьянская на обложке перерисована в пирата с побитым оспой лицом, повязкой на глазу и серьгой в ухе, под ней наклейка из плотной чертежной бумаги с Веселым Роджером, акулой и надписью печатными буквами: «Судовой журнал клипера «Арабелла»; изображены также кинжал, трехмачтовый 10-пушечный корабль с надутыми парусами и развевающимися гюйсами, а на задней обложке поверх таблицы умножения приведен краткий перечень важнейших морских портов – английских, голландских, французских и «других». Читаю первую запись:

«23 XII 1762 года. Клипер «Арабелла» и шхуна «Голубая Стрела» идут курсом NO на о. Скелетов. Ветер ZW, волнение 2 балла, скорость 11 узлов. На ZW исчезают Маскаренские острова. 22.00 – пересекли теплое течение Мамлакатхо. Никаких происшествий не случилось».

Названий явно не хватало – «Мамлакатхо» позаимствовано из девиза газеты «Правда» и на каком-то из языков означает «пролетарии всех стран».

Далее приводятся списки экипажей (с именами вроде Блэнди Акула и Конопатый Аллигатор), географические координаты с градусами широты и долготы и стоит подпись «Педро Блад».

Через три дня запись прыгающим почерком:

«26 XII. Шторм в 12 баллов. Судно бросает из стороны в сторону. Крен до 40⁰. Потерялась шхуна «Голубая Стрела». Шторм несет нас к о. Цейлон. Скорость 10 узлов».

Дальше нормальным почерком:

«27 XII. Шторм кончился. «Арабелла» стоит в пустынной бухточке Цейлона. Мы послали 30 человек за водой. Однако на обратном пути на них напало 150 англичан. Пришлось отбиваться, но это поистине блестяще. Было убито 120 англичан, а 30 бежало. Мы потеряли всего 9 пиратов, в том числе боцмана Миллинокета. Боцманом вместо него стал Кошачий Зуб. Но вода была доставлена, и мы снялись с якоря. Курс ONO, скорость 9 узлов». Ниже изображен план боя с розой ветров в углу и расшифровкой условных обозначений. Наши потери оказались минимальны, поскольку пиратам удалось засесть в пустовавшем блокгаузе.

«28 XII. На время капитаном стал Сангре. Педро Блад тяжело ранен. Блэнди Акула украл у него бриллиант в 123 карата. Когда Педро его раскрыл, он выстрелил в Блада из пистоля, но Блад, теряя сознание, прострелил глотку Блэнди. Блэнди чуть-чуть живой. Надежды на выздоровление нет. Кровавый Кашалот лечит своими снадобьями Педро. Пуля у него прошла в дюйме от сердца. Но клипер продолжает путь. Курс ONO, ветер ZW, скорость 12 узлов. Находимся на полпути от о. Цейлона до Андаманских островов».

Но уже на следующий день здоровье капитана и Блэнди резко пошло на поправку. Далее опять шторм, ремонт повреждений, новогодняя пирушка, сражение с английским барком и двумя бригаantinaми (вторично возникающие здесь в качестве врагов англичане позволяют заключить, что я, несомненно, испанец – только стоящий во главе разноплеменного сброда, очень доблестного и отважного, но и не менее алчного, команды отпетых авантюристов и

мошенников, каждый из которых в бою стоит дюжины обычных матросов). Не успели подсчитать трофеи (в том числе отменного качества «манильский трос» и сколько-то мешков «кедровых орешков из России»), как появились на горизонте голландские корабли. С голландцами мы тоже сражаемся. Их адмирал Ван-дер-Декен проявил в абордажной схватке такое небывалое мужество, что мы его отпустили. Педро Блад ранен на этот раз в бедро. Добыча поделена поровну с подоспевшей нам на подмогу эскадрой капитана Флинта. После чего совместная стоянка на безымянном острове дикарей. Приведена карта острова, расположение наших кораблей в бухте и маршрут прогулки в глубь острова. Запись:

«От туземцев узнали, что Барилоче здесь еще не было. Убили 3-х медведей и гориллу. У подножия горы нашли кости, а наверху яму для костра, где туземцы жарили людей. Оказывается, они людоеды. На обратном пути встретили племя туземцев, шедшее на войну, но мы сумели запугать их, и они нас пропустили. Вернулись благополучно».

И, наконец, решающее сражение вблизи острова Скелетов. Не стану утомлять читателя описанием кровавого и весьма запутанного побоища. Его исход решили 20 головорезов Флинта, взявшие на абордаж испанский флагманский корабль с другого борта (черт, и с испанцами мы тоже воюем?). Сан-Карлос-де-Барилоче был взят нами в плен и тут же вздернут на рее – Педро Блад сдержал клятву и «собственноручно выбил табурет из-под ног своего заклятого врага». Правда, в ходе сражения пиратские главари едва не рассорились. Педро Блад дает выход своему негодованию на страницах судового журнала:

«О, помесь свиного окорока с каравеллой! Ужасный гибрид негра с мотоциклом! Ржавый якорь ему в бок и фунт порошу в ноздрю! Наш «Ла Фудр» уже захватил шлюп «Омар», а этот болван Флинт вздумал нам помочь и утопил его! Сакраменто!!!»

Вообще брани в судовом журнале хоть отбавляй – по числу абордажей, пирушек и козней врага. Пираты, как и положено, весьма корыстолюбивы, тщательно ведут учет добычи и не менее тщательно делят ее по справедливости и пиратскому обычаю.

На этот раз по случаю победы был закатан грандиозный пир, восполнен понесенный страшный урон в людях, награбленные сокровища зарыты в трех разных кладах, захваченные пленники посажены в подземелья острова Конкистадор дожидаться решения своей участи вплоть до возвращения пиратов из кругосветного плавания, в которое те неожиданно решили отправиться. Впрочем, отплытие пришлось отложить на два дня из-за поразившего команды

«хронического поноса» после неумеренных возлияний и чревоугодия, которым они предавались на пиру.

Во время плавания наш капитан по уши влюбился в дочь губернатора одного из островов, «прекрасную, как Афродита, Венера, Диана и Аврора, вместе взятые». Ее красота настолько потрясла его, что он приказал немедленно сниматься с якоря и поскорее ввязаться в какое-нибудь морское сражение, которое, конечно же, не заставило себя долго ждать. Теперь уже не поздоровилось незадачливым шведам. Последнего шведского офицера Педро Блад загнал своей шпагой на кончик бушприта и сбросил в воду – судовой журнал со странным сочувствием отмечает: «Над беднягой тут же сомкнулись зубы тигровой акулы».

И опять – курс, ветер, баллы, скорость, пока наконец все не завершается встречей в условленной бухте острова Конкистадор, где бросают якорь обошедшие Землю по кругу, отяжелевшие от награбленного золота парусные суда пиратской эскадры.

В 1763 году к компании Педро Блада и Джона Флинта пожелал присоединиться новый одноклассник и сосед Флинта по дому Лёпа, который еще не решил, кем он будет, но уже бомбардирует Блада письмами – размашисто размалеванными цветными фломастерами самодельными конвертами с сургучными печатями – куда: «улица Дзержинского»; кому: «Педро Бладу»; обратный адрес: «Атлантический океан», – их в недоумении, но весьма исправно доставляет по адресу ошалевшая советская почта.

Поначалу: «Срочно сообщи координаты моего личного острова! Да, и что записывать в бортжурнал каждую вахту?»

Но уже вскоре: «Ах, да, я совсем забыл, что коренные жители моей страны и личного острова – индейцы, потный мокасина тебе в ноздрю! Напиши подробнее, как пользоваться полукруглой астролябией и какое вооружение у шлюпа? У нас с Василием, то есть с Флинтом, все уже готово, кроме одного галеона. Мы сами делаем настоящий порох и начинаем им корабли, чтоб быть мне одноглазым! Между прочим, на всех моих кораблях плавают люди под именами, взятыми из «Наследника из Калькутты». Ты так и не написал, согласен ты, чтобы один месяц был как год (для нас, пиратов)? И как быть с операцией на Андаманских островах? Капитан Бернардито».

Бладу пришлось целый учебный год проучиться в другом городе (тоже в классе «Б», кстати), и на этот год приходится пик пиратской переписки. Перебираю письма, сургучные печати на которых, с

черепами и перекрещенными костями, раскрошились, но все еще держатся:

«Привет, Педро! Пишу тебе другое письмо, о выродок лысой обезьяны! И какого банана ты заливаешь, что в музее им. Ивана Франко на о. Скелетов, в подвале, полно золота? Кило динамита тебе в задницу! (Прости меня, старика, за резкие выражения, ибо я всегда предан нашему братству.) Я специально попал на необитаемый остров, чтобы отдохнуть. Смастерил лодку из обломков кораблекрушения и обследую соседние рифы. Ты, конечно, меня спаси, но только к каникулам весенним. И смотри, зашифрованную записку не выбрасывай, шлю тебе ключ. Перемалюй, поставь на буквы корабликом кверху, потом поворачивай, куда указывает бушприт, и читай. Как прочтешь, сожги!»

Опять Лёпа: «Привет, мой Педро-побратим! На конверте ошибка: Лёпа не от «Леонида», а от «Алексея». Скоро буду пересекать экватор, мчусь на всех парусах тебе на помощь. Откуда идут корвет и три шхуны? Я поплыву наперерез, чтобы не дать им соединиться. План захвата острова неплохой, только давай без воздушного шара – это уже не по-пиратски, на воздушном шаре летать. На пластилиновые корабли я согласен, но Вася НЕТ. Сладостей у меня хватает. Только интересно, из чего ты собираешься сделать 10 млн. фунтов стерлингов (и сколько в фунте стерлингов пиастров, ты не знаешь?). У меня в копилке уже около 6 рублей. До острова Скелетов нам ближе, чем до острова Святой Елены.

Шлю тебе колонии Гонг-Конг и свою фотографию. Всем классом ходили на оперетту «Домой вернулись моряки», неплохая, поржать можно. Советую тебе посмотреть «Рукопись, найденная в Сарагоссе» – страх и ужас, отличный фильм.

Сейчас на горизонте виднеются какие-то корабли, не очень хочется с ними встретиться. Как я вижу, в Индийском океане промышлять плохо, почти все суда везут пряности, но я же не намерен становиться купцом и в каждом порту продавать эти проклятые пряности! Пойду я лучше в Атлантический океан или в Средиземное море.

Мы с Василием купили карту мира – такая огромная, из 4-х листов, на ней много маленьких островов.

Каррамба! Блатные гориллы! В третий раз пропал судовой журнал.

Приезжай скорей, а то как-то скучновато. С братским приветом – Бернардито.

*Домой вернулся моряк с моря,
И охотник с холмов вернулся домой».*

Пририсована многопушечная баркентина и наклеен над ней вместо луны вырезанный из журнала мглистый земшар.

Огорченное письмо от Флинта:

«Как только приехал, думал – тысячи сюрпризов, а получил мильон разочарований. Во-первых, Лёпы нету – и ты заперся куда-то в жопу аж по 1 сентября».

Отец Лёпы работал под дипломатическим прикрытием в разных экзотических странах и высылал сыну, отданному под присмотр бабке, в изобилии американскую жвачку, переводные картинки и марки колоний. Через пару лет Лёпины родители вернулись и забрали сына жить в другой город. Лёпин отец вновь занялся работой по своей прямой специальности. Первые Лёпины письма после переезда размалеваны, как прежде, и отмечены горячностью:

«Ты, негодяй, почему не отвечаешь на вопросы из моего предыдущего письма? Где вы достаете бертолетовую соль? Напиши рецепты: грога, пороха и других взрывчатых и воспламеняющихся химикатов. Они мне нужны, чтобы набивать ими трюм моей бригантины (она у меня вся в латках, но я из нее сделал судно-мишень). А у Васьки спроси и пришли мне рецепт бисквитного торта. Я тут заделался кондитером, делаю разные конфеты и торты. Что это за спичка охотничья? Если вы их делаете сами, обязательно напиши рецепт, а если нет – пришли штук десять. Я тут достаю артиллерийский порох, ничего особенного, только больших размеров. То, что вы теперь все смертны, я знаю, мне Василий уже писал. Пришли мне какую-нибудь свою фотографию и Сережкины стишки (моя сестра говорит, что ржала над ними полдня).

Твоя идея, конечно, гениальная, я об этом и не задумывался, – но на что надо нажать, чтоб поступить в институт океанографии? Меня тут отец может устроить на станцию подводного плавания, я, конечно, пойду. Насчет остаться на второй год – это не та школа, ты бы здесь был круглым отличником. В классе подкладывают друг другу такие записки: «15/IX вас посетит Fantomas», – и нарисована синяя рожа.

У меня ничего нового, я купил себе краски и кисточку и занялся искусством. А чем вы сейчас развлекаетесь? Напиши мне что-нибудь интересное и увлекательное – что ты читаешь или прочел интересного? Напиши мне о самом большом кораблекрушении, и если будут новые сведения о флоте – высылай.

За кого ты болеешь? Я за киевское «Динамо», но я болельщик – не профессионал, а любитель.

Как тебе понравился «Вий»? По-моему, неплохой фильм, только конец не очень хороший. Я тут из воздушки по окнам палю, это мое любимое занятие. Как ты думаешь, покупать мне легкие капроновые ласты за 1 руб. 50 коп. или нет? Я облил руку соляной кислотой (технической), чтобы не ходить в школу, но ничего не вышло, только через три дня стала слазить кожа.

Пока все. Лёпа».

Но постепенно тон писем менялся – от «мальчишек тут таких нет, как ты и наши мальчишки» до «насчет кругосветного плавания, я бы лучше лет в тридцать».

«Ты кого это захотел учить в БСЭ? Я уверен, что в БСЭ у меня опыт больше, чем у тебя, т. к. я всю свою жизнь провел среди энциклопедии, начиная от дня рождения. Единственное, чего я не знал, это такелажа, но такие незначительные статьи меня не интересуют.

Напиши лучше про драку с осьминогом или другим морским чудовищем. Да обязательно впутай девочек (только красивых, и опиши красоту) и напиши, как мы выследили шпиона. Перечитываю «Шерлока Холмса», сожалею, что негде достать «Эдгара По». Прочел «Король Лир» Шекспира, ничего. Я знаю, откуда твой Джек Потрошитель, из «Кто украл Пунакана». Я тоже хочу написать детектив. Но, по-моему, у меня получится что-то любовное. Говорят, ты кого-то подцепил?

Когда поезд прибудет, выйди на платформу, а то я не знаю, какой вагон».

Прошел год с небольшим.

«Как я помню, ты спрашивал меня, куда я собираюсь поступать, так вот: поступать я собираюсь в институт на археологический факультет, а через год переведусь в Киев. Видимо, море – не моя стихия (шутка, конечно). Если бы я мог сдать физику и алгебру, я бы поступал, но...

Сейчас я ничего не делаю, грызу науку. На зимние каникулы я приеду за 2–3 дня до окончания четверти. Если ты сможешь, достань мне песню-сказку Высоцкого «Ах-уймись, уймись, тоска, у меня в груди, эт-только присказка, ска-а-зка впереди». Мне сейчас нечего писать, не знаю, что писать. Ты лучше задавай вопросы, а я буду отвечать. То было счастливое время, когда мы играли в пиратов, ходили на речку, строили песчаные крепости и кидались галькой. Был

летом в Севастополе, видел эсминцы и новый противолодочный крейсер «Москва». Пиши, как жисть? Что делаешь? Пока. Лёпа».

Еще в школе он занялся одноклассниками, затем поступил на библиотечный факультет пединститута, через год перевелся в Киев, вставил пластмассовый нос, выправивший его вечно заложенную лепёху, говорят, рано облысел.

Я не видел его ни разу после окончания школы.

© И.Ю. Клевх.

Фото предоставлено И.Ю. Клевхом.